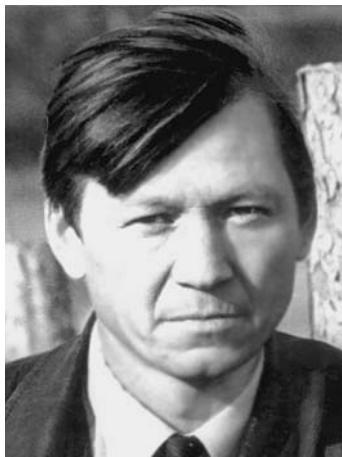


ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ ПЕСНЕЙ ЖИТЬ...

УТРЕННЕЕ

Ах, сколько снега навалило,
сугробов сколько намело...
Как будто память возвратила
меня — в якутское село.

И вспомнилось родное детство,
когда на лыжах беговых
срывался я с друзьями вместе
с отвесных берегов речных.

В ушах свистел морозный ветер,
а мнилось, что скворец запел
в лесу сосновом, на рассвете,
где куст рябиновый алел.

Но это только прибавляло
любви к сияющим снегам,
в которых жизнь меня ковала —
так споро, что не ведал сам...

ПЕРЕВЕРЗИН Иван — известный русский поэт. Родился 10 марта 1953 года в поселке Жатай Якутской АССР. Автор восьми книг стихотворений, лауреат многих престижных всероссийских премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В настоящее время живет и работает в Москве.

Мне наплевать на злое горе, —
я в горе стал навеки седым, —
и свет встает в небесном море
с летящим именем моим...

Вот всё, о чем душе хотелось
сказать среди пиршества снегов,
в преддверье праведного дела,
где зло забыть навеки готов!

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Пожаром разгорелась осень
в краю сохатых и ольхи,
когда решительно я бросил
любовь заветную — стихи.

На то, увы, была причина:
с крутым характером своим
я должен на любой вершине
быть первым или — никаким!..

И с целью славной, но суровой —
семью родную прокормить! —
пошел я в скотники — коровам,
как говорят, хвосты крутить...

И очень скоро все доярки
на ферме убедились в том,
что скотник я в работе жаркий,
с ядреным сочным языком...

Другого языка, как это
ни грустно, скот не понимал...
С зимовкой справившись, я летом
с косцами в ряд один вставал...

Стога взметались выше ёлок,
дурманил душу иван-чай...
За делом, с песнею веселой
я времени — не замечал...

Я признавал — душою всею,
что жизнь моя — навеки село,
где в мае рожь, где в темень сеют,
но скот пасут, пока — светло...

За летом разгорелась осень,
и я, целуясь у ольхи,
вдруг осознал: напрасно бросил
любовь заветную — стихи...

ОТТЕПЕЛЬ

Взаправду тепло сегодня, —
кружится лёгкий снежок,
сердце стучит свободно,
будто от чистых строк...

Если б не ветер сильный,
мог бы я смело сказать:
нынешний полдень зимний —
моей души благодать!

И всё же собой довольна
уставшая драться душа
при виде летящего вольно
на крыльях судьбы стрижа.

В стужу не сгинул, милый,
кроясь под теплой стрехой...
И дай ему, Боже, силы
дожить до весны со мной.

* * *

Ну сколько можно нас делить
на правых и неправых, —
мы рождены, чтоб песней жить
и не бояться — славы...

Но песня песне рознь! — в ответ
вы скажете мне хмуро,
и я пойму вас как поэт,
кто бился с диктатурой...

Сначала вздрогну, но потом
скажу тебе — по-русски:
ведь Русь моя — мой отчий дом —
и в радости, и в грусти.

И вновь продолжу вечный путь
к отеческим истокам,
чтоб песнь моя пронзала грудь,
как небо гордый сокол...

Чтоб наконец-то я запел
о счастье — без оглядки,
как это дед-кулак умел,
кормясь — с реки да грядки...

* * *

Ах ты, псина, душевно родная,
по глазам моим — мысли читая,
понимаешь меня, словно друг...
И в минуты печали со мною
предаёшься сердечному вою, —
пусть и людно бывает вокруг.

Если светел я сердцем от счастья,
вновь исполнен святого участия,
словно в море, бескрайней любви, —
ты мне лижешь лицо без оглядки
и летишь с звонким лаем по грядке,
где недавно тюльпаны цвели.

Было всё у нас, в общем, неплохо,
но гремит, словно поезд, эпоха.
Если ты — еще только щенок,
то я жизнью истерзанный старец,
так уставший от подлых предательств,
что душой, как собака, продрог.

Только что это я вдруг о грустном?!
Приведу свои мысли и чувства
в тот порядок, что силы дает...
И еще мы с тобой, тварь земная,
поживем в кущах звездного рая, —
даром, что ли, вновь сердце поет!

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Мы и теперь в борьбе суровой
неверно слышим отзвук дней,
когда в поэтах зрело слово
всё потаенней и мрачней...

Последним, кто те дни прославил
в пропахших чабрецом стихах,
был молодой Васильев Павел,
отринувший и смерть, и страх...

Прямой защитник слов крылатых,
с любовью жгучей, корневой
к земле бескрайней и богатой, —
он пел и пел про рай земной...

Но не понять глухим воронам,
но не простить сове слепой, —
летающих с колокольным звоном, —
слов соловьиных в час святой...

Забился б в угол потемнее,
да и сидел бы — тишь да гладь...
Но он спешил в Москву скорее
степную удаль показать.

И показал, да так, что сразу
всем стало ясно — кто поэт
народный и не по приказу,
поэт, в котором вечный свет.

Воронам это и не снилось,
сове — не виделось ничуть,
вот и сошлись они в две силы,
чтоб оборвать высокий путь.

Но все васильевские строки, —
воистину — живей живых, —
во мне — прекрасны и высоки,
как ответ буден грозových.

Я сам из тех, кто им внимает, —
и, отменяя грусть и боль,
жизнь, как награду, принимает, —
и бьется насмерть — за любовь!

БОЖЬЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Не год, не два — во мраке лет
живу в неистребимом страхе...
Как будто пред судьбой ответ
держу, распластанный на плахе.

Но свой уход не тороплю —
мне сил хватает, без сомнений, —
в ночи шептать тебе: “Люблю!”
и воспевать весь мир весенний.

Тогда зачем пишу про страх,
что мучает так сильно сердце, —
и провожу я ночь в слезах —
и без надежды на бессмертье?

Затем, что после слёз ночных
приходит неземным спасеньем
та сила, что в кругу живых
зовется Божьим вдохновеньем.

И жизнь на месте не стоит,
и страх безумный не помеха —
и в счастье, что струной звенит,
и в горе, где не слышно смеха...

* * *

Успокой свою гордость живую, —
ну, подумай, грубо толкнули,
а могли ведь, ничем не рискуя,
подарить смертоносную пулю.

И лежал бы сейчас бездыханно
ты в грязи на полу перехода,
вызывая совсем не обманно
чувство двойственное — у народа...

Значит, вновь обернулась удачей
жизнь, в которой ты выстоял в стужу
и отдал, чуть от счастья не плача,
милой женщине гордую душу...

И сейчас не куда-нибудь в горы,
чьи вершины горят белоснежьем,
а домой, к этим взорам-озерам
ты торопишься с радостью нежной.

Торопись, ведь порой и мгновенья
не хватает для полного счастья,
чтоб душа, как в глухом песнопенье,
у любви не просила участия...

А навек до конца забывалась
от одной лишь улыбки рассветной...
Торопись! Еще время осталось...
Но — летят уже снежные ветры.

ИУДА

Живя под нагрузкой двойной
во славу рассветного чуда,
я дам тебе имя, враг мой,
вполне по заслугам — Иуда.

О, сколько достойных людей
по злобе твоей на Лубянке
томилось, кормя жирных вшей
из пыточных ран, как из банки...

И после, в застой, так сказать,
ты чем занимался, скажи-ка?
Не ставил ли жирно печать
запрета на праведных книгах?

Ты понял, Иуда, меня?
Конечно же, понял, я вижу.
Но сдуру не думай, что я
тебя хоть чуть-чуть ненавижу...

Где я, а где ты, — разве сам
не видишь, подлец, от досады?
Я песней взлетел к небесам,
ты падаешь — в пропасти ада!